

UNPUBLISHED STORIES BY V. BRUSOV. «A MIRACLE», «A
DELINQUENT'S STORY»

Tatyana Shuran

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАССКАЗЫ
ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

Вступительная заметка и примечания Т.И. Шуран

Художественная проза В.Я. Брюсова на сегодняшний день активно изучается. В отделе рукописей РГБ ещё остался ряд ранее неизданных небольших текстов писателя. Предлагаемая подборка позволяет представить разнообразие тем, интересующих Брюсова-прозаика, и разнообразие экспериментов Брюсова-стилиста.

Рассказ «Чудо». Печатается впервые по черновому автографу с многочисленными исправлениями и зачёркиваниями: НИОР РГБ, фонд 386, картон 35, ед. хр.31. Приблизительная датировка: 1900-е.

Рассказ, отразивший юношеское увлечение Брюсова мистикой и оккультизмом. Об этом периоде Брюсов пишет, например, в дневнике за октябрь 1900 года: «В спиритических сеансах испытал я ощущение транса и ясновидения. Я человек до такой степени “рассудочный”, что эти немногие мгновения, вырывающие меня из жизни, мне дороги очень» (Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М., 2002. С.110).

Любопытно, что в данном случае Брюсов покидает типичную для него отстранённую позицию рассказчика-наблюдателя или даже только «публикатора» чужой рукописи и примеряет на себя роль человека, который сам владеет сверхъестественными способностями. Автор пытается взглянуть на мистическое явление «изнутри»; любопытно также, что и в этом случае загадочный феномен остаётся необъяснённым.

Рассказ «История одной преступницы». Печатается впервые по рукописи: НИОР РГБ, фонд 386, картон 35, ед. хр.3. В архиве сохранился беловой автограф и его машинописная копия, а также несколько черновых вариантов и разрозненных отрывков.

Обращает на себя внимание долгая работа Брюсова над произведением, которое так и осталось незавершённым. Первые наброски датированы 1897 годом, а последние – 1918. Как указывал С.С. Гречишкин в статье «Ранняя проза Брюсова», в 1898 году Брюсов планировал сборник прозы «Рассказы (Реальной школы)» («Русская литература», 1980, №2. С.207). Публикуемый текст выделяется среди произведений Брюсова подчёркнуто реалистичной, даже грубоватой манерой повествования. В рассказе нет ни мистики, ни антиутопических картин будущего, ни утончённых любовных переживаний: перед нами история девушки из городской бедноты. Название в черновых рукописях варьируется: «Из мастерской. (Сцены московской жизни)», «Рассказ в больнице». Однако, несмотря на обыденность, «прозаичность» избранной темы, рассказ – скорее очередной опыт Брюсова-стилиста, чем подлинное погружение в жизнь городских «низов». В этом смысле публикуемый текст заметно отличается от одного из самых «бытописательных» произведений Брюсова: повести «Обручение Даши» (1913), в основу которой легли дневники отца Брюсова Якова Кузьмича. Возможно, именно внутренняя чуждость героини автору и стала причиной незавершённости работы.

Валерий Брюсов

ЧУДО

После трёх месяцев лютой зимы показываются первые весенние признаки. Оцепеневшие человеческие умы начинают оттаивать, и посеянные семена дают ростки под снегом. Это случалось уже много раз, но вместо того, чтобы принимать эти непреложные факты за случайность или совпадение и относиться к ним с пренебрежением, их наблюдали, их собирали, над ними размышляли, из них делали выводы.

Сначала дело обстояло так, что над собственными суевериями смеялись, потом смех притих, а теперь уже не знают, чему верить, чему нет. Чудеса свершаются и свершаются каждодневно, но нельзя сотворить чудо по произволу.

Однажды иду я по рыночной площади, в тот час совершенно безлюдной. Издавна страдая болезнью пространства,

я испытываю чувство страха в пустых помещениях; через открытые места пробираюсь я с худо затаённой робостью. В этот раз я устал от работы, нервно расстроен до последней степени, и вид пустынного рынка производит на меня особенно мучительное впечатление, так что во мне возникает желание «быть невидимым», чтобы только увернуться от любопытных глаз. Я наклоняю голову, вперяю взор в камни мостовой, и меня охватывает такое ощущение, как если бы я сам завернулся в самого себя, закрыл все внешние чувства и порвал все сношения с внешним миром, как если бы я уничтожил все впечатления окружающей среды. И вот, сам того не зная, я перехожу рыночную площадь.

Через мгновение в маленьком переулке окликают меня сзади два знакомых голоса. Я останавливаюсь и стою.

– По какой же дороге ты пришёл?

– Я? Да через рынок.

– Неправда! Как это могло быть? Мы нарочно стояли здесь, чтобы как раз тебя перехватить и пообедать вместе.

– Уверяю вас.

– Так что же ты, сделал себя невидимкой?

– Невозможного нет ничего.

– Для тебя, пожалуй. Рассказывают невероятнейшие вещи, будто бы с тобой приключавшиеся.

– Догадываюсь, что в том роде, как меня видели на Дунае, когда я был в Париже.

Действительно, то была замечательная случайность, но в то время отнёс я её к области видений безо всякого реального основания. И я обратил не больше внимания на их слова, как на весёлую шутку.

В тот же день вечером я ужинал одиноко в местной столовой своего трактирщика. Какой-то человек, незнакомый мне, вошёл туда, видимо кого-то разыскивая. Он не показывал виду, что замечает меня, хотя посматривал на все столы. Убеждённый, что в комнате больше нет никого, он громко выругался и принялся разговаривать сам с собой. Чтобы обратить его внимание на присутствие другого посетителя, постучал я вилкой по стакану. Незнакомец тотчас порывисто вздрогнул.

Казалось, он был поражён, узнав по звуку, что в комнате есть ещё кто-то. Он умолк сразу и поспешно бросился вон.

С того часа стал я задумываться над вопросом о дематериализации, явлении, признаваемом оккультистами. А новые свидетельства следовали одно за другим.

Неделю спустя моё внимание было пробуждено удивительным происшествием. Была среда, когда трактирная зала бывает битком набита крестьянами, приезжающими на рынок. Чтобы избежать тесноты и всякого рода неудобств, мой обычный сотрапезник спросил нас отдельную комнату. Он пришёл раньше меня, дождался меня в передней и пригласил войти. Но, чтобы выиграть время, у нас было порешено закусить перед стойкой в общей зале, очень большой. Неохотно пошёл я туда, вслед за моим другом, так как меня всегда коробит ругань перепившихся мужиков. Нам пришлось пройти сквозь всё их скопище, направляясь к стойке, около которой в ту минуту стоял только один мужчина, и к тому же мирно настроенный. Захватив кое-что на свою долю, причём я не обменялся с моим другом ни словом, – направились мы в нашу комнату, я по-прежнему сзади него.

В дверях мой друг выразил величайшее удивление, видя меня.

– Что такое? Как ты сюда попал?

– Пришёл с тобой от стойки.

– Но ведь я тебя там не видел и мог только одно подумать, что ты здесь оставался.

– Ты меня не видел? Да ведь мы руки скрещивали над блюдами!.. Не могу же я становиться невидимкой!

– Во всяком случае, потешное происшествие!

Обращаясь к воспоминаниям и разбираясь в своём прошлом, выношу я оттуда к свету тайные записи событий, не имевшие до сих пор никакой цели, так как я относился к ним с сомнением. Ощущения, пережитые через них, остались в своё время безмолвными в силу тогдашних моих занятий точными науками.

И вот вспоминается мне утро моей первой свадьбы. То было зимнее воскресенье, как-то особенно тихое и даже слишком праздничное для меня, готовившегося расстаться с порочной

жизнью молодых гуляк и довериться теплу брачного очага вместе с жёнущкой, которую я любил. Я чувствовал потребность съесть свой завтрак совершенно одному, последний завтрак в холостой жизни. С этой целью спустился я в кафе, устроенное в подвальном этаже, под землёй, в одном из незаметных переулков. Погребок был освещён газом. Уже спросив себе бутербродов и кофе, я вдруг заметил, что сижу прямо под взглядами весёлой мужской компании. Явно пьяные, сидели они за бутылками, видимо, с вечера, бледные как мертвецы, растрёпанные, одетые небрежно, осиплые, мерзостные – после невоздержанно проведённой ночи. В этом обществе узнал я двух из друзей моей юности, дошедших до того, что у них не было ни хозяйства, ни постоянного пристанища, ни определённых занятий. Отъявленные негодяи, они, может быть, уже соприкасались с преступлением.

Вовсе не из гордости чувствовал я отвращение при мысли возобновить с ними знакомство: то был страх – снова очутиться в грязи, естественное нежелание увидеть себя самого в своём прошлом, – так как сам я пережил подобную же пору. Когда же относительно более трезвый их них, выбранный ими послом, поднялся и направился к моему столу, – меня охватил ужас. Твёрдо порешив, если на то пойдёт, отрицать, что это я, мерил я глазами наступавшего на меня; и вот, без того чтобы я знал, как это произошло, он одно мгновение постоял у моего стола, потом – с таким недоумевающе-тупым выражением лица, какого я никогда не забуду – попросил извинений и возвратился на своё место. Явно было, что он готов был клясться в том, что это я, и всё же он не узнал меня.

Тогда принялись они судить о моём отсутствии.

– Это он, несомненно.

– Ну вот чёрт меня побори, а это он.

Я бежал с поля сражения, преисполненный стыдом за самого себя, жалея этих несчастных, но в глубине души дрожа от счастья, что я вырвался из подобного позорного существования... Вырвался?!

Говоря о нравственной стороне вопроса, остаётся ещё установить такой чудесный факт, что есть возможность настолько изменить своё лицо, чтобы стать неузнаваемым для

старого знакомого, с которым в течение целого года встречался и раскланивался на улице.

Лет через пять после этого, в Берне, молодая девушка из хорошего семейства взяла с меня обещание поехать с ней вечером в театр. Просьба эта вовсе не согласовалась с моим желанием, так как мне не хотелось компрометировать девушку, да кроме того, вечера в театре меня всегда утомляли. Между тем мне никак нельзя было уклониться от исполнения своего слова, и я всё же пришёл на ту улицу, о которой мы сговорились, как о месте свидания. Правда, я должен сознаться, что ходил по другой стороне улицы взад и вперёд сто шагов по тротуару, но улица была очень узкой; я ходил с полчаса, ни на кого не глядя и твёрдо надеясь её не встретить. Выходка моя удалась, и после срока я наконец ушёл оттуда.

На другой день я первый послал письмо с упрёками. Барышня отвечала мне с удивлением и настаивала, что она была на месте свидания и ждала меня. Дело осталось неразъяснённым.

В былое время была у меня привычка ходить на охоту совершенно одному, даже без собаки, иной раз и без винтовки. Однажды бродил я так куда глаза глядят (дело происходило в Дании) и наконец остановился на лесной прогалине; вдруг совсем около меня выглянула откуда-то лисица. Шагах в двадцати от меня она смотрела прямо мне в лицо при ясном солнечном свете. Я стоял неподвижно, а лиса продолжала обшаривать все уголки кругом в погоне за полевыми мышами. Я нагнулся, чтобы поднять камушек. Тогда настал её черёд делаться невидимкой; в одно мгновение она исчезла, и я не видел, как она скрылась. Я обыскал всю поляну, но там не было ни норы, ни куста, куда она могла бы спрятаться. Она исчезла без помощи своих быстрых ног!

Там и сям по болотистым низменным берегам Дуная вьют свои гнёзда цапли, а цапли в высшей степени пугливые птицы. Несмотря на то, случалось мне не раз подходить к ним вплотную, вовсе не прячась. И всё время, пока я оставался неподвижным, мог я стоять близ них и наблюдать их. Им случалось даже пролетать над самой моей головой. Никто не хотел мне верить, когда я это рассказывал, а всего меньше охотники, из чего я и заключил, что это было немножко не в порядке вещей.

Когда я в конце концов пересказал эти приключения своему другу, теософу из Лунда¹, он вспомнил об одном происшествии, объяснения которому никак не мог сыскать. К нему зашёл знакомый ему рабочий и сообщил, что ему посчастливилось отыскать подлинную античную статую, которую где-то намерен он продать; пока же просил он ссудить ему пять крон. Он получил просимое, но после того совсем пропал, и месяца три его нигде нельзя было сыскать.

Как-то в субботу мой друг идёт с своей женой по предместью и видит этого рабочего на том же тротуаре в нескольких шагах перед собой.

– А! Вот попался-таки мне, мошенник!

Мой друг пускает руки своей жены и бросается вперёд, но шедший перед ним человек вдруг исчезает, растаивает. Поблизости не было никакой двери, никакого окна или входа в погреб, куда можно было бы скользнуть, чтобы спрятаться. Как всегда бывает, мой друг порешил, что он был жертвой галлюцинаций, так как на всей улице не было живой души и, следовательно, не было никакой возможности «обознаться».

Всё это – голые факты. Искать объяснения для необъяснимого значит впадать в противоречие с самим собою. Когда у живого существа признают особую способность изменять направление зримых световых лучей, иначе сказать, изменять амплитуду рефракций (преломления) – то неужели же это сочетание слов должно быть признано решением задачи, в которой всё существенное и заключается в том, *зачем* и *как* это свершается. Останемся лучше при том, что то было чудо! Пусть оно слывёт чудом до тех пор, пока не найдётся более удовлетворительного ответа. А пока мы ждём, позвольте нам собирать факты, а не добывать во что бы то ни стало их опровержения.

Валерий Брюсов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРЕСТУПНИЦЫ.

Из недавнего прошлого 1)

¹ Лунд (швед. Lund – «роща») – город на юге Швеции.

1) Автор предупреждает, что, стремясь сохранить *манеру* речи рассказчицы, её «синтаксис», он, за немногими исключениями, не счёл нужным воспроизводить «этимологические и фонетические» особенности этой речи, вроде форм «допрежь» (вместо «прежде», «раньше»), «местов» («мест»), «выпимши» («выпивши»), и искажений слов, вроде «натомический» (вместо «анатомический»), «протувар» («тротуар») и т. под.

I.

А что́ я другого знала, кроме мерзости всякой? – Ничего не знала. Когда ещё девчонкой была, лет пяти, у матери другого имени для меня не было, как «стерва», «паскуда» да «лахудра». Мальчишки, с которыми я на тротуаре в камешки играла, тоже всё норовили эдакое сказать: ты, мол, девчонка, тебе на одной ножке скакать, не то, что нам... А чего от соседей я наслышалась, особливо, когда на дворе ругаться промеж собой начнут, – и, боже мой! всё тут было! младенец греху научится!

Опять же, что́ я видела? Мать углы сдавала, тем и жила после того, как отца, в пьяном виде, задавили. Известно, кто углы сымает! Завсегда у нас одна или две девки гулящие жили, – из тех, что за полтинник (а то и за двугривенный) «удовольствие» предлагают. Таковую в номера редко кто поведёт: номер-то, самый маленький, один шесть гривен, да и три четвертака, стоит. Ну и приводит девка своего гостя к нам. У нас для того за перегородкой особая каморка была. Пошлёт гость за соткой водки, за колбасой за гривенник (меня ж и посылали, как подросла маленько), – и всё-то, что они там, за тёмом-то, говорят, слышно, словно рядом на кровати сидишь. Всего и наслушалась с малолетства, даже нагляделась.

Как сама я до пятнадцати лет дотянула, и теперь удивляюсь. Были у меня товарки, с нашего же двора, что́ по тринадцатому году на улицу пошли. Верке, например, ещё тринадцати не было, как она уже себе место у бань откупила: каждый день ходит, заманивает; и хорошо получала: случалось, старики по полсотни платили. Только полиция очень гоняла; а потом захворала Вера, от кого-то подцепила-таки, ну и пропала... А я боялась очень. Да и все грубо так лезли, «Катька, – говорят, – чего бережёшь! смотри прокиснет!» И хохочут. Я не давалась,

так иные силой приставали: от соседского кучера только тем отбилась, что зубами его за ухо ухватила; закричал, заругался и выпустил, а то совсем в сторожку к дворнику волок.

Сколько я с матерью жила, только одного и могу помянуть добрым словом. Старичок у нас угол снимал, Фёдор Иваныч, безногий, то есть болели у него ноги, еле ходил, а по целым дням и вовсе без ног лежал. Так вот он, бывало, надо мной сжалится, когда мать изобьёт очень, – подзовёт, приласкает, даже конфетку даст. Очень я его полюбила, всё смотрю, чем бы ему помочь, что подать, что принести, что на постели поправить. Фёдор Иваныч, бывало, меня к себе посадит и со мной говорит, просто так, любовно и как со взрослой: про свою жизнь рассказывает, как он прежде богат был, про чужие страны, куда ездил, про кушанья разные и вина; дух захватывало, как всё себе представишь. А старику тоже радость была – вспоминать: всё позабудет, объясняет, руками машет. «Хорошо, – говорит, – я пожил, Катюша, всласть!»

Он же самый, Фёдор Иваныч, меня читать выучил. Без него остаться б мне безграмотной. Мать и сама почти что разучилась (да и что читать-то ей было, разве вывески!), а чтобы в школу послать, так она всегда кричала: «Ладно! и дома нужна! кого жильцы в лавочку пошлют? пол кто подметёт? У меня не два хребта. И без школы хороша, лахудра проклятая!» Да ещё норовит поленом меня огреть, – это когда я о школе заговаривала. Фёдор Иваныч услышал, подозвал, спрашивает: «Ты в школу хочешь?» – «Стыдно, дяденька, – говорю, – грамоте не знаю, смеются надо мной». Мне одиннадцатый шёл в ту пору. Старик и взялся меня учить, у него ж и книжки свои были. Оно правда, я непонятлива была, никак в толк ничего не возьму, Фёдор Иваныч сердится, «дура ты!» кричит, однако не оставлял, долбил, долбил и вдолбил-таки. По двенадцатому году я совсем хорошо читала, даже по славянскому, писать могла, счёт узнала, как и в школе не научилась бы. Но только тут Фёдор Иваныч скоропостижно помер.

Много было шуму при его смерти. У нас все думали, что у старика много денег зашито где-нибудь, в портках или в тюфяке. Как мать увидала, что Фёдор Иваныч мёртвый лежит (удар что ли с ним приключился), так мне об том говорить запретила, погрозила, что голову расшибёт. Потом двери – на запор (днём дело было) и пошла шарить; всё обыскала, сапоги вспарывала,

нашла сорок целковых, – и те просто в кошельке лежали, – письма какие-то, паспорт, бумаги, и всё. Но тут соседки пришли, как-то прознали, кричать начали, что мать мёртвого обобрала, шум поднялся. Само собой полицию позвали; обыск, допрос. Меня спрашивают: «Отвечай, девочка, взяла твоя мать деньги?». Со страху я всё начисто рассказала. Мать тут и заарестовали. Однако же всё потом обошлось: выпустили её через неделю. Только избила она меня за моё показание немилосердно: и башмаком била, и за волосы таскала, и по щекам хлестала, уж соседка, Анфисья, отняла: «дух, – говорит, – из девчонки выколотишь». Я и то дня три после побоев как очумелая ходила.

И пошла без Фёдора Иваныча жизнь хуже, чем была. То, бывало, как невтерпёж станет, всё к старику пойдёшь. Он рад был рассказывать, а мне любо было слушать: сидишь, уши развесив, как будто куда улетела, пока мать не накинется: «Дармоедка! что лодырничает? А ты, старый хрыч, чего лясы точишь? или бес в ребро, девчонку умаслить хочешь? Не про тебя, пропойца, писана!» И всё это неправда была: никогда Фёдор Иваныч мне дурного слова не сказал, и пропойцей он вовсе не был, разве когда с горя пошлёт за полбутылкой, напьётся враз и заснёт тут же... Ну, да что говорить! Одно слово: окошко он был в моей жизни, свет я через него видела, а, как помер, тьма кругом стала, и черти в ней огненные пляшут.

Это я так себе тогда представляла: кто-то мне картинку подарил, грешников в аду мучат. Я и думала, что вот жизнь моя – сущий ад, а черти – это те, что ко мне пристают, чтобы, значит, первыми попользоваться. Но тоже и мать мне наказывала: «Не давайся, Катька, даром. Подрастёшь, хорошие деньги получишь. Пожди, я сама тебе человека сыщу». А я не потому, что на деньги зарилась, а страшно мне было очень, и очень уж все противны: грязные, нечёсанные, сивухой от них разит, на третьем слове матерщина, да и не молодые все, мужики за сорок. Так я и крепилась. А по ночам о Фёдоре Иваныче плачу: «Милый, хороший, – твержу, – зачем помер? Тяжко без тебя!»

Четырнадцати мне не было, когда меня в ученье мать отдала, и так это удачно: в большущий магазин Андреевых, дамские конфекционы. Немножко я на побегушках пробыла, а потом меня сразу на работу определили: к подмышницам. Шили-

то взрослые, по кроеному уже, а мы, две девчонки, я и Оленька Чебрунова, подбирали, нитки обрезали, складывали. Не мало и здесь я тоже нагладелась. Как свободная минута, то есть отойдёт старшая, сейчас работницы по материи что-нибудь такое смастерят, друг дружке показывают, хохочут. Так ловко делали, после я в анатомическом музее видела, так не хуже! Или промеж себя в полшёпота о разных эдаких вещах разговаривают, советуются: одна – про то, что она со своим любовником ночью выдывала, другая – как ей быть, потому что, кажется, в таком положении она, третья – прямо, как она впервой рожала рассказывает, и всё прочее. Мы с Оленькой слушаем, дышать не смеем. А у ворот каждую из работниц её дружок всегда поджидал: возьмёт под руку и уводит. Правду сказать, завидно нам было: уж не маленькие мы были!

Вот тут-то мне Семён и подвернулся.

II.

С той поры уже лет шесть прошло. Семён тогда только что из солдат вернулся, молодой был, красивый такой, с чёрными усами. А храбрый – страсть: ни перед кем не отступит; сейчас рукава засучит, «выходи, – скажет, – хоть трое на одного!» Понравился он мне сразу, как у нас в доме стал жить. К тому ж он сразу и место себе обстоятельное сыскал: у водопроводчика, на сорок рублей в месяц, да ещё прибавить обещали. Ко мне Семён ласково так подошёл: «Красавица вы, – говорит, – такая миленькая, я в Смоленске таких не видал (а он в Смоленске службу отбывал), да я, – говорит, – вам серёжки подарю». Никто ещё со мной так по-хорошему не говорил! И не лез прямо, иди, мол, ко мне в комнату, а деликатно так: «может, говорит, мы друг дружке полюбимся».

Мать заметила, изругала меня на чём свет стоит. «Дура! – кричит, – у него гроша за душой нет, чего поддаёшься! Ко мне вчера лавочник, что насупротив, об тебе засылал: он – вдовый, будешь у него, как жена законная жить». Да лавочнику тому шестьдесят было, а Семён – кровь с молоком, тогда был молодец настоящий. Серёжек он, правда, так и не подарил, но в электро-театр сводил; в первый раз я туда попала, сию, дивлюсь: по полотну словно живые ходят! Потом мы с Семёном в Сокольники

чай пить ездили, он баранками угощал, шоколадом. Где ж мне было устоять? Как позвал, так я и пошла к нему; правда, в самую минуту испугалась очень. «Голубчик, – прошу, – Сеня, не сегодня, отложим!» Но уж он разгорячился, да и выпил маленько, слушать меня не стал, как схватит, я и покорилась.

На утро мать опять ругать меня, бить хотела. Но я, хоть и больна совсем была, не далась. «Семён, – думаю, – защитит. Да и что мне мать: я жалованье получаю, тринадцать рублей, могу без неё прожить». Увидела мать, что я не уступлю, плюнула. «О твоём счастье, – говорит, – заботилась, лахудра длинноволосая! Вот за медный пятак отдала, за что сто рублей могла получить. Ну и будь потаскухой, дрянь такая-сякая!» А меня Семён в тот же день опять к себе зазвал, и, хоть сначала ничего-то мне, кроме противности, не было, я опять пошла. Так оно и повелось. Стал Семён тоже к воротам ходить: я – из магазина, уж меня ждёт, и я так на товарок гордо смотрю: видите! И у меня – свой есть.

Вскорости и Оленька пристроилась, и, правду сказать, совсем было хорошо пристроилась. Подвернулся ей сын купца богатого с нашей улицы, блондин, лет двадцати, не больше, Алёша, по имени. Понравилась она ему – страсть. Только две было беды. Во-первых, хворый он был с самого начала, Алёша. А, во-вторых, отец у него был строгий, – ужас как. Всё приходилось тайком делать, чтобы отец не проведал. И в деньгах старик с сына точный отчёт спрашивал. Всё-таки Оленьке перепадало не мало, когда и радужная бумажка, а подарков разных – без конца: серёжки, брошки, браслетки, конфеты, косыночки. «Умрёт папенька, так я на тебе женюсь», – так Алёша Оленьке говорил, и, право слово, женился бы, если б жив остался.

Я первое время Оленьке не завидовала, на её счастье радовалась, потому что сама жила в удовольствии. Вздохнула немножко после красных чертей-то! Отработаю, а меня уже Семён ждёт: мы сейчас или в Сокольники, или в парк, или в Разумовское – гулять, чай пить, на лодке кататься; или прямо к Семёну, где у него всегда закуска была своя, водка; я полрюмочки пригублю, а он хлопнет три-четыре стаканчика, весёлый станет, песни поёт, меня потешает, на колени к себе посадит, – весело! Домой вернусь, и что там мать ворчит, мне дела нет: собака лает, ветер носит. Да и перестала мать ругаться:

видит, в ладу мы живём; только жалованье у меня моё всё отбирала: «это, – говорила, – за квартиру и за харчи». А какая такая квартира была, если я в кухне на сундуке спала? а харчи – щи пустые, да хлеб, да селёдка в праздник, и всё тут.

Только недолго это наше благополучие длилось. Сошлась я с Семёном по весне, даже к лету ближе, а осенью – хлоп: его со службы и выставили. Он объяснял, что это – сотоварищи из злобы на него устроили: он здорово поколотил двоих. А другие рассказывали, что Семён хозяйских денег шесть сотен прикарманил, только так чисто дело обработал, что никак его нельзя было изобличить. Хозяин призвал Семёна и сказал ему: «Знаю, что мои деньги ты украл, никто другой, но улик против тебя не имею, потому – вот тебе паспорт и иди на все четыре стороны». Семён было в амбицию, но хозяин ему: «Ежели так, – говорит, – я всё-таки полицию извещу, пусть она разберётся». Прикусил Семён язычок, взял свой паспорт и ушёл. Да и то сказать, откуда он деньги брал, чтобы каждый день водкой угощаться? не сорок же рублей ему на всё хватало, ещё меня шоколатом угощать!

Спервоначально Семён всё новую должность искал. Но уж об нём худая слава разошлась, никто его не хотел; а какие места предлагали, он сам не желал: на двадцать рублей в палатку подручным или младшим дворником; обижался, считал для себя недостойным такие должности. День за днём, неделя за неделей, и совсем разговоры о службе притихли; да и от работы Семён отбился. Были у него товарищи: те уговорили его, что можно деньги зарабатывать куда легче, чем спину гнуть на службе. Оно и прежде Семён к тому был охоч, всегда должность свою поносил: «стоит того, – говорил, – из-за сорока рублей трубы таскать, в колодцах сидеть, мокнуть и руки мозолить!» А как попробовал он лёгкой наживы, так окончательно порешил, что ни к чему себя закабалить, и места искать перестал.

Шайка их целая составила, – в околотке их «звонарями» звали. Сидят, бывало, целые дни в трактире «Санкт-Петербург», пьют, на биллиарде играют, и дело высматривают. А дело их какое? Перво-наперво: купить-перепродать; продажей больше по воскресеньям под Сухаревкой занимались, покупали тут же, в трактире, в задней комнате, – краденое, разумеется. Второе дело:

новичка поймать, если какой из провинции приехал или вообще желторотый ещё. Напоят его, играть заставят, а карты у них меченые, или ещё как облапошат. Случались и иного рода дела, но об том уж «звонари» молчок держали: очень острогом от этих дел пахло, чтобы их на вид выставлять.

/на этом рукопись обрывается/